

16.333к 7

# Волшебный фронт

В ЭТОМ СБОРНИКЕ —

Фронтовой дневник  
Дм. Прокофьева,

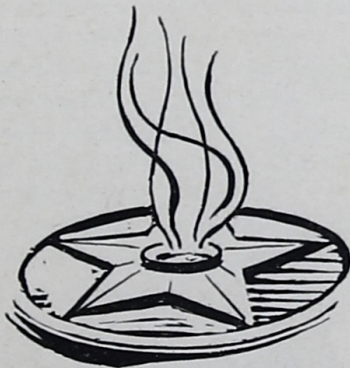
Стихи В. Жукова,  
И. Смирнова, В. Шапошникова,  
Н. Грачева, А. Иванова,  
А. Шабалина и др.

О писателях,  
не вернувшихся с войны:  
А. Кузнецове, А. Флягине,  
Ю. Баранове, Н. Майорове,  
А. Лебедеве.

16.333к

# Варшавский прибой

Литературно-  
художественный  
сборник



ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЯРОСЛАВЛЬ 1975

С 4

-- 2010



Проходят годы и годы, а образ этого человека, раз возникнув передо мной, настойчиво притягивает к себе. Время не ступевывает его, наоборот, укрупняет, делает масштабнее, а новые подробности жизни и творчества Николая Майорова, как мазки кистью, добавляют к его портрету новые черточки, и этот портрет становится конкретнее, зримей.

Так уж бывает: за стихами большого поэта, сначала будто в дымке, а потом все определеннее и определеннее проступает облик самого автора. Вот почему у каждого из нас есть свой Пушкин, свой Маяковский, свой Есенин, свой Блок, свой Дмитрий Кедрин, свой Луговской... У меня есть еще свой Николай Майоров. В шеренге «моих» поэтов он самый юный, ни на кого не похожий, со своим голосом.

Он прожил короткую и не богатую внешними приметами жизнь. Именно — внешними, ибо внутренний мир его, скрытый от глаз чужих, да и близких ему людей, был обширен, тонок и сложен. Он не успел переформовать этот мир в стихи. Он только приступил к этой работе, но и первые песни его души говорят о большом таланте поэта, о незаурядности его личности, о силе природы, о гражданственности его характера.

Меня поражает его юношеская мудрость, точное ощущение эпохи и роли своего поколения в ней. Кто лучше Майорова нарисовал портрет поколения, которое прямо со школьной и институтской скамьи шагнуло в хаос войны? «Мы» — произведение зрелого мастера, художника, который плоть от плоти своего народа. А ведь ему было тогда всего 21. А через два года, в начале 1942, он погибнет где-то под Гжатском. И вернется к нам, как обещал, «лишь в пересказах устных да в серой прозе наших дневников».

### ВЕРНОСТЬ

Ее зовут... Впрочем, не в имени дело.

Передо мной сидела немолодая уже женщина — жена, мать, бабушка. В глазах не то чтобы тоска, скорее — усталость и грусть. Но это добрые, умные глаза, видящие через годы — и его, и себя — молодую, красивую, беззаботную и гордую, готовую ночи напролет просиживать над Пушкиным, Толстым, Чеховым, Блоком...

В них что-то по-мальчишески задиристое, напористое, смещающее привычные понятия. Улыбнется и вздохнет: «Уж этот Майоров...» И захочется достать припрятанную тетрадку с его стихами, отогнуть обложку и вслушаться в другую, нежную музыку слов:

Скажи мне, ветер, не встречал ли  
Девушку, как песенка моя?..

Как часто видит она высокого, немного сутуловатого, скромно одетого юношу, несколько неуклюжего, угловатого. У него было широкое, обыкновенное, в общем-то, лицо: небольшой, чуть вздернутый и словно припухший нос, короткие брови, чудесные пушистые ресницы и удивительные глаза — серые, с зеленоватыми искорками, такие горячие, что они казались воспаленными. («Он много читал, подчас такие книги, о которых мы, его одноклассники, и не слышали. Читал, конечно, ночами. Ночами же писал стихи».)

Такие юноши обычно не нравятся девушкам. Но в этом парне чувствовалась какая-то необыкновенная внутренняя сила и красота, основательность и зрелость. К нему тянуло.

Он всегда хорошо учился.

Не любил бросать слов на ветер. («Ребята, бывало, ершатся, спорят до хрипоты, а он сидит в стороне, улыбается и молчит».)

Казалось, он постоянно думает о чем-то своем.

Не любил лезть вперед, был скромн, об успехах своих говорил односложно. («Читал стихи, приняли... Понравилось, просили еще почитать».)

Был честен и прям. Точен. Опрятен.

(«Забыла, Меня всегда поражали его руки — удивительно изящные, руки интеллигента. Такие же руки были у его отца — плотника. Их не измяли, не изломали ни топор, ни рубанок, ни молоток. И сам Николай, насколько мне известно, не чурался физического труда».)

Давно опал налет девичьей восторженности, наивности, сомнений. Память отсекала лишнее, мелочное, откристаллизовала его образ и навечно впечатала в сердце...

Зимние каникулы. Школьный вечер. Окна заставлены узорчатыми искрящимися ставнями. Там, за ними, мороз, а здесь — свет, тепло, шум веселья, музыка...

На сцену выходит девушка-конферансье.

— А сейчас стихи собственного сочинения прочитает Николай Майоров.

В дешевеньком костюме, со старательно наведенными утюгом стрелками на брюках, коротко подстриженный, он стоит перед залом и молчит: ждет, когда утихнет шум. Подбородок его чуть вздернут кверху. Наконец он глухо роняет:



— «Осень».

И, склонив голову набок, начинает читать:

Кончался август. Ветер в груши  
Бросал предутреннюю дрожь.  
И спелый колос грустно слушал,  
Как серп жевал сухую рожь.

Рука его рубит воздух, но пальцы сложены не в кулак, а щепотью. Губы у него смешно, совсем по-детски складываются в трубочку. Завораживающая музыка стиха льется в зал, и никому в голову не приходит насмеяться над тем, как он «трубит», как сверху вниз ходит его рука, в которой он словно держит дирижерскую палочку.

Рябины красными кистями  
Свисали ниже над землей.  
Качались ивы над домами,  
Заплавав ржавою слезой...

Он читал еще и еще, а зал отзывался аплодисментами, щедро награждая своего лучшего школьного поэта, своего комсомольского вожака.

Вновь играла музыка, кружились пары. Не успела она на минутку остаться без подружки, как рядом оказался Николай. Только и сказал:

— Слушай, домой вместе пойдем.

— Хорошо, — пожала она плечиками. И уже глядя ему вслед, всполошно подумала: «Наверно, пропустила какую-нибудь ошибку в стенгазете... Ну, отчитает!...»

Долго шли молча. Пересекли Негорелую улицу, 10-го августа... Жег мороз. Тихие, притаившиеся за сугробами, посверкивающие в темноту редкими огоньками окон, стояли дома. Перед небольшим обрывчиком он остановился.

— Знаешь... Я тебя люблю...

(«С тех пор мы стали вместе ходить из школы домой. С ним было очень интересно. Он так много читал, так много знал, что я вначале поражалась этому. Потом привыкла и уже считала, что так и должно быть. А вот сейчас понимаю: он был на голову выше любого из нас в знании жизни, был не по годам образован. И это давалось ему непросто... У него на все было свое особое мнение. Он интересно рассказывал, очень живо, образно. Знал массу стихов. Наизусть всего Есенина, любил Маяковского, Асеева, Луговского, Пастернака... Сейчас я понимаю, что уже тогда он всерьез и много размышлял о жизни, о назначении человека, думал широко. И часто жаловался, что ему не хватает двадцати четырех часов... Он любил веселые

слова, постоянно искал их. Однажды он спросил меня: «А что, если написать: «Безумный инок плакал за оградой?» Порой мне казалось, что каждый день у него расписан по минутам. Работоспособность у него была колоссальная... С кем дружил? Самыми близкими его друзьями были одноклассники Костя Титов и Коля Шеберстов. Каждый из этой троицы был сам по себе незауряден. Константин впоследствии стал профессиональным актером, а Коля — художником. К этим талантливым ребятам тянулся и более младший по возрасту Владимир Жуков.

А потом пришла пора прощаться со школой, выбирать в жизни дорогу. Николай Майоров решил поступать в МГУ, на истфак, ибо он, как вспоминает Владимир Жуков, «поэтом быть не собирался, считая, что писателем может быть только человек по-настоящему талантливый, такого рода, к какому себя не причислял». Может, и так, может, и не собирался. Только ведь он был уже поэтом, пусть начинающим, но поэтом. Его юношеские стихи были во многом подражательны, он чувствовал это, как чувствовал и то, что в них уже звучит и его, майоровский голос, майоровский образ. Вряд ли такой настойчивый и целеустремленный человек мог сложить без боя свое поэтическое оружие. И, как показало время, Николай постоянно работал, оттачивал свое мастерство. Да он, верно, и не представлял себя вне поэзии.

В том, что он решил поступать не в литературный институт, а на истфак университета, немалую роль сыграли мнения отца и старших братьев. Это была крепкая рабочая семья, в которой ценился человек, имеющий «твердую» профессию — плотника, ткача, учителя, инженера. Близкие не отваживали Николая от его увлечения стихотворчеством, но понимали, видимо, что для писательского труда нужен талант. А кто из них решился бы сказать — наделен им Николай или нет?

(«Ну, а меня родители в Москву не пустили и почти принудили поступить в Ивановский химико-технологический институт, к которому у меня душа совсем не лежала и который я вскоре оставила...»)

Ту улицу Московской называли.  
Она была, пожалуй, не пряма,  
Но как-то по-особому стояли  
Ее простые крепкие дома,  
Купалась в стеклах окон бирюза,  
Он был насквозь распахнут и пронизан  
Лучами солнца, бьющими в глаза.

Вот в этот-то дом на Московской улице в Иванове часто приходили из Москвы письма, много писем. В них были откровения, расска-



зы о московской студенческой жизни, о литературной работе, были строчки стихов. К сожалению, этим письмам не суждено было сохраниться, донести до нас подробности жизни поэта, его мысли, мечты.

Иногда он приезжал на день, на два.

Я с поезда. Непроспанный, глухой.  
В кашне измятом, заткнутом за пояс.  
По голове погладь меня рукой.  
Примись ругать. Обрато шли на поезд.  
Грозясь бедой, невыгодой, концом.  
Где б ни была — в толпе или в вагоне, —  
Я все равно найду,  
Уткнусь лицом  
В твои, как небо, светлые  
Ладони!

Это была светлая, чистая, очень верная дружба. И беды бы не случилось, не случись большая, всенародная беда — война.

(«В том же 1941 я заболела базедовой болезнью. Но я была молода, смотрела на болезнь эту как на пустяк. Да и до себя ли было, когда такие страдания обрушились на всю нашу страну. Как комсомолка, я не могла стоять в стороне, хотелось что-то делать, чем-то помогать. По комсомольскому призыву поехала на торфозаготовки. Работали по колено в воде... В Иваново меня привезли совершенно разбитой, больной. Сделали операцию. Был задет речевой нерв... Онемела. Полтора года не могла говорить».)

Беда никогда не ходит одна...

В тот день шел нудный, изматывающий душу дождь. Отец и мать не хотели, чтобы она шла на кладбище. Но она была неумолима: как же не проводить в последний путь бабушку. Уговаривали, но она только мотала головой.

Вернулась домой опустошенная, до нитки вымокшая. А перед глазами все стояла могильная яма с рыжей глинистой водой на дне и грязь, грязь... Ей все чудилось, что и руки, и лицо, и волосы перепачканы липкой глиной. Несколько раз принималась мыть руки и лицо. Наконец не выдержала и вымыла голову.

Потом сидела у окна, бесцельно смотрела на улицу, на дождь, на рябые лужи. И вдруг — о чудо! — под окном появился Николай. С велосипедом. Одет он был как-то странно — в галифе, в сапогах и в пиджаке.

— Я не буду к вам заходить, — кричал он. — Там, в почтовом ящике записка и фотография. Всего день у меня, сейчас еду к Коське Титову... Ты-то как? Не лучше?

Она покачала головой. А слезы застилали глаза, лицо его расплывалось...

(«Это была наша последняя встреча. Я не могла сказать ему даже «Прощай!» В записке он написал, что часть, с которой он направляется на фронт, стоит сейчас где-то под Владимиром и что его отпустили всего на день. А еще он писал, что, если останется жив, найдет меня, где бы ни была. На фотографии он был изображен вместе с братом. Видимо, карточки, где бы он был один, не оказалось под рукой».)

О гибели Николая друзья долго не говорили ей. Об этом она узнала лишь летом сорок второго.

(«Все рухнуло... Мир для меня будто перестал существовать... Только тогда я вдруг со всей ясностью понял, какое огромное место он занимает в моей жизни... Окончилась война, а я долго еще ждала его...»)

Теперь я видел: в глазах у нее не только усталость и грусть, но и тоска. За эти несколько часов она будто еще больше постарела.

## **БРАТЬЯ**

Семья была большая и дружная. Сами, переехав в 1929 году в Иваново, ставили дом. «Парадом» командовал, конечно, отец — Петр Максимович. Главными помощниками у него были старшие сыновья — Алексей и Иван, находилось дело и десятилетнему Николаю — поднести доску, подать инструмент, вколотить гвоздь, присмотреть за пятилетним Шуркой.

Наконец новый дом на 1-й Авиационной сверкнул на улице тремя застекленными окнами. Теперь можно жить.

Как-то так получилось, что с самого начала траву перед майорским домом выбили десятки ребячьих ног: у каждого из братьев сразу нашлись друзья-приятели, они-то вечно и толпились у двора. Здесь, на лысом пятачке, чертились палочками разные формулы, доказывались теоремы, здесь играли в «попа-загонялу» и другие игры. Братья пользовались всеобщим уважением, потому что все были смекалистые, дружные, не хулиганистые, но смелые, и все — выдумщики на разные розыгрыши. Да и родители — Петр Максимович и Федора Федоровна — не бранились, привечали всех. Здесь можно было и воды напиться, и огурец получить, и кусок хлеба, если не захочется бежать домой.

Иногда на задах тайком играли в карты. Но Николай принимал участие в игре в том случае, если кто-то вместо денег ставил на кон книгу. И был безмерно счастлив, если выигрывал ее.

Но иногда в размеренную, обыденную жизнь улицы врвались события чрезвычайные.



Однажды неподалеку от города разбился самолет. Весь личный состав погиб.

На другой день на зеленом успенском кладбище состоялись похороны. В суровом молчании на холодный горький песок первой в нашей мальчишеской жизни братской могилы военные летчики положили срезанные о землю винты самолета.

А вечером Коля читал стихи, которые, помнится, заканчивались строфой:

Вот если б все с такою жаждой жили,  
Чтоб на могилу им взамен плиты  
Их инструмент разбитый положили  
И лишь потом поставили цветы...

Событие это оставило в его душе неизгладимый след. Чуткий и отзывчивый к людям, он превыше всего ставил в человеке мужество и прямоту.

Да, тот трагический случай произвел на него огромное впечатление. Наверное, еще потому, что старший брат его, Алексей, стал тоже летчиком. Николай вновь и вновь обращается в своих стихах к теме подвига. Не брата ли Алексея видел он, когда писал в стихотворении «Торжество жизни»:

И пахли юностью побеги  
Ветвей. Прорезав тишину,  
Другой пилот в крутом разбеге  
Взмыл в голубую вышину.  
Мир был по-прежнему огромен,  
Прекрасен, радужен, цветист,  
И с человеческим сердцем вровень  
На ветке бился первый лист.  
И не смущаясь пепла, тлена,  
Крушенья дерзостной мечты,  
Вновь ликовала кровь по венам  
В упорной жажде высоты!

В другом стихотворении, имеющем точный адрес — «Брату Алексею», вновь возвращается к этой теме. И стихотворение вновь звучит жизнеутверждающе.

Куда ни глянь — сплошные травы,  
Любая боль была горька.  
Для нас, нескладных и упрямых,  
Жизнь не имела потолка.

И разве не звучат здесь уже «басы» его программного произведения — «Мы»?

Мы жгли костры и вспать пускали реки.  
Нам не хватало неба и воды.

— Потом Коля уехал поступать в университет. Жил он на Стромынке. Дом 32, комната 520. Он часто писал мне: Шурка, приезжай, покажу тебе Москву. Наконец я собрался. Взял билет на поезд. Ехать мне предстояло через Владимир, а в Новках надо было заком-постировать билет. Мать собрала мне маленький фанерный чемоданчик, сработанный лично отцом. Для Коли положила два десятка яиц, а для меня «докторский» батон, чтобы было в дороге чего пожевать...

Перрон в Новках был похож на вавилонское столпотворение. Военные, штатские, женщины, дети... Лошади, повозки, узлы, чемоданы. Шум, крик, суматоха...

Поезд из Иванова задержали и отвели на запасной путь. Через станцию шли и шли воинские составы. Был уже на исходе второй день пути, когда злополучным пассажирам было объявлено, что отправить их нет никакой возможности, что самое разумное идти им до Владимира, а там попытаться уехать на попутных машинах.

Идти пришлось до Москвы. Шли долго. Ночевали в лесу, в деревнях, в стогах, на вокзалах. В Орехово-Зуеве, в большом зале со сгруженными в угол чуть ли не до потолка стульями, всю ночь выкрикивались фамилии, раздавались команды: «Становись! Рассчитайся! Равняйся! Шагом марш!..»

В общежитии на Стромынке его давно ждали. Николай обменялся с родителями телеграммами и теперь волновался: куда пропал братишка?

Едва Шурка сказал дежурной, что приехал к Майорову, как та обрадованно всплеснула руками:

— Ну и слава богу.

Остановила пробежавшего мимо Николая Банникова, попросила проводить гостя к Майорову.

— Ну-ка, ну-ка, какой ты? — завертел мальчишку студент. — Ты смотри, какой цыган. Да ты же ни капли на брата не похож...

— Жизнь в общежитии была ходовая. Заканчивалась сессия, студенты сдавали последние экзамены. Но разговоров было больше о войне, о фронте, о том, кто записался в армию и кто собирается это сделать. Николаю было не до меня. Утром он провожал меня до метро и говорил: «Катайся до двух часов. Потом выйдешь на станции «Охотный ряд», спросишь МГУ», Я катался до одурения. А что делать? Потом дожидался возле университета брата, и мы с его друзьями ехали в общежитие пить чай. Иногда он спохватывался и рассказывал, что я могу посмотреть в Москве. Рисовал мне марш-



руты, записывал, как доехать туда или сюда на автобусе, трамвае, на метро... У меня голова кругом шла от этих его картинок. Потом прошел слух, что студентов будут посылать копать противотанковые рвы. Я понял, что мне пора сматываться.

Нетрудно представить, наверное, что чувствовал шестнадцатилетний мальчишка, когда на следующий день Николай, упаковывая вещи в чемодан и плетеную, вроде сундука, корзину, сказал ему:

— Через два дня уезжаю... Слушай, Шурка, если достанешь билет, чемодан с книгами увезешь домой. Вот этот...

Шурка прикинул на руке:

— Ой-е-ей, тяжеленный-то! А те куда?

— Эти мы отнесем верным людям.

В корзине лежали книги, конспекты, тетради со стихами.

...Пересекли Красную площадь, потом свернули, и еще раз свернули. Шурке непонятно было, почему это какие-то книги нужно вложить в Иваново, а вот вещи Николай хочет оставить у кого-то здесь, в Москве. Подумалось: «Может, он и часы тут оставит?»

— Слушай, Колька, давай я часы-то домой отвезу.

Николай удивленно посмотрел на меньшего, усмехнулся и сказал:

— Эх, Шурка! Глупый ты еще какой. Что часы, жизнь дороже, чем часы...

Наконец очутились в тихом переулочке, остановились перед каким-то домом. Держась за железные перила, поднялись на второй этаж. Николай прошел в квартиру, а Шурка остался на лестнице. Кому брат отдал чемодан и корзину, он не видел.

В 1948 году, — вспоминает далее Александр Петрович Майоров, — Николай Шеберстов дал мне адрес одного старого художника, который знал, где живут Н. Николай учился вместе с Сашей Н., и друзья полагали, что он оставил вещи именно у него. Конечно, мне хотелось разыскать ту корзину с рукописями, с тетрадками... Саши дома не оказалось, он работал где-то в другом городе, а родные его сказали мне, что у них никто ничего не оставлял... И что я постеснялся тогда зайти в квартиру?! Из Москвы я тогда уехал через несколько дней, после отъезда брата. С чемоданом, набитым книгами, я, конечно, намучился. Но ведь не бросишь — Николай просил... В ту ночь, когда я ехал из Москвы, гитлеровцы впервые бомбили нашу столицу. Дома я уже не застал ни Алексея, ни Ивана. Они воевали. А в октябре добровольцем ушел в армию и Николай. Брат Иван писал мне, чтобы я шел работать. «Живы будем, — говорил он, — поможем тебе продолжить учебу, а сейчас нельзя лодырничать...» Вот так я и стал токарем. Когда отслужил, вновь вернулся на завод. Иван и Николай не вернулись...

Нам не дано спокойно спать в могиле —  
Лежим навтыяжку и, приоткрыв гробы,  
Мы слышим гром предутренной пальбы,  
Призыв охрипшей полковой трубы  
С больших дорог, которыми ходили.  
Мы все уставы знаем наизусть.  
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.  
В могилах мы построились в отряд  
И ждем приказа нового. И пусть  
Не думают, что мертвые не слышат,  
Когда о них потомки говорят.

Так могуче, так сильно мог написать только Николай Майоров, поэт и солдат, человек верный своему гражданскому долгу, человек большого сердца и мужества, павший под Гжатском. А где-то здесь, неподалеку, уже жил мальчишка по имени Юрий Гагарин, который через несколько лет уже мог сказать стихами своего предшественника:

И пахли юностью победы  
Ветвей. Прорезав тишину,  
Другой пилот в крутом разбеге  
Взмыл в голубую вышину.

*Виталий Сердюк*



